

Литературный кризис. (По поводу современной беллетристики). — «Научное обозрение», 1897 №3, с. 19—34. (21—29, 33—34).

(Мас. №100)

— 21 —

«Скучно прямо... Расцвет искусства совпадает с периодом, когда известная, определенно и резко выразившаяся историческая эпоха умирает и человек особенно страстно и нетерпеливо хочет жить и беспокойно мечется, выискивая того неясного и таинственного, что сулит ему будущее».

Таким «переходом» в нашей истории были сороковые годы. Крѣпостное право заканчивало свое существованіе и на рубежѣ двухъ эпохъ возникла великолѣпная художественная литература. На сцену сразу выступила цѣлая плеяда талантовъ. То же самое видимъ мы въ современной французской литературѣ. У нея есть центръ — вполне опредѣлившійся типъ мѣщанской жизни, съ ясными признаками вырожденія и той духовной гангрены, которая носитъ разныя имена: невѣрія, сознанія безцѣльности всего и т. д. Не удивительно, что такіа дарованія, какъ Флоберъ, Золя, Мопассанъ, собрали обильную жатву. Сама жизнь своими ясными очертаніями помогла ихъ творчеству, такъ какъ въ ней были и теперь есть и «устоявшіяся формы», и «наслоившіеся типы».

У насъ нѣтъ въ данную минуту ни устоявшихся формъ, ни наслоившихся типовъ, и это совершенно понятно съ точки зрѣнія «классовой теоріи», которая, кстати сказать, начинаетъ приобретать все больше и больше кредита въ мало изслѣдованной, но несомнѣнно интересной, области «философіи литературы». По этой теоріи, какъ въ современной жизни, такъ и на всемъ протяжении известнаго намъ историческаго прошлаго — тонъ жизни, ее характерныя индивидуальныя (значить самыя цѣнныя для художественнаго воспроизведенія) особенности опредѣляются торжествующимъ того или другаго класса — аристократіи, буржуазіи мелкой или крупной и т. д. Торжествующій классъ и является бродильнымъ началомъ жизни, онъ привлекаетъ къ себѣ общее вниманіе, процессы совершающіеся внутри его интенсивны, значительны и очевидно, есть съ чего рисовать, что описывать. Кто же торжествуетъ у насъ въ данную минуту? Дворянство? Купечество? Крестьяне? Интеллигенція? Ни то, ни другое, ни третье, хотя претензіи на преобладающую роль (это при нашемъ-то всемогущемъ государственномъ началѣ!) раздаются довольно настойчиво именно со стороны гг. промышленниковъ, увѣряющихъ даже, что они все могутъ.

Неудивительно поэтому, что литература вмѣсто типовъ даетъ полу-типы и предпочитаетъ всему эскизы и наброски, называя романами и повѣстями тѣ же эскизы и наброски, лишь растянутые на тридцать—сорокъ печатныхъ листовъ.

Эти полу-типы положительно заполонили современную беллетристику. Мы, какъ ея хроникеру, «по обязанности» приходится особенно часто встрѣчаться съ ними и присутствовать при зрѣлищѣ утомительномъ и скучномъ, несмотря на все свое кажущееся разнообразіе. Присутствуешь какъ будто на представленіи плохого компанейскаго фееріи. На сценѣ толпится множество лицъ. Одни уходятъ, другіе приходятъ. Залѣхъ, куда, откуда? — не знаетъ никто. Мелкнетъ лицо, что-то скажетъ, но не услышишь, ни увидишь въ него, ни присоедишься къ его разговорѣ, какъ онъ исчезло и на его мѣстѣ — уже новое, съ которымъ опять надо знакомиться, къ

словамъ котораго опять надо прислушиваться. Въ концѣ концовъ чувствуешь себя усталымъ и недоумѣвающимъ.

Между прочимъ особенно внимательно я слѣжу за произведеніями г. Чехова, по моему мнѣнію, самаго характернаго художника нашихъ дней. Онъ представляется мнѣ одареннымъ большою наблюдательностью и серьезнымъ талантомъ. Но ни наблюдательность, ни талантъ не могутъ помочь ему создать что-нибудь крупное. Невозможно или, лучше сказать, не встрѣчая поддержки со стороны жизни, подчиняясь ея разбросанности и неопредѣленности, онъ ограничивается штрихами и очерками. Много штриховъ мѣткихъ, оригинальныхъ, но фигуры блѣды и неясны, точно снятыя въ тусклый осенній день. Г. Чеховъ какъ будто встрѣчаетъ всѣхъ своихъ героевъ на почтовой станціи. Случайная встрѣча, случайный разговоръ, случайно подмѣченный штрихъ и новый знакомецъ исчезъ вдали: авторъ распростился съ нимъ вѣроятно навсегда. Возьмите даже такую сравнительно крупную вещь Чехова, какъ его драму „Ивановъ“, достаточно шумѣвшую гдѣ 8—9 тому назадъ. Я ее читалъ и не разъ видѣлъ на сценѣ. Ивановъ по моему не типъ, даже не живой человекъ, но въ его характерѣ есть одна черта, быть можетъ, даже черточка, которая подкупаетъ зрителя и возбуждаетъ въ немъ несомнѣнный интересъ. Ивановъ то и дѣло настойчиво повторяетъ, „что онъ усталъ“ и отъ жизни, и отъ работы. Въ блѣдности его ощущеній, въ его трагическомъ восклицаніи „не могу любить.. усталъ“ вы видите признаки переутомленія. И это важно для нашихъ дней, по развѣ одна черта, хотя бы доминирующая, составляетъ типъ?

Возьмите дажѣ одинъ изъ послѣднихъ разсказовъ г. Чехова „Домъ съ мезониномъ“. Вкратцѣ напомнимъ его сюжетъ. Молодой, даровитый художникъ, уже пользующійся извѣстностью, прѣзжаетъ отдохнуть на лѣто въ деревню. Здѣсь во время одной изъ своихъ прогулокъ онъ знакомится съ интересной помѣщичьей семьей, гдѣ между прочимъ, двѣ дѣвушки — какъ и слѣдуетъ быть — старшая и младшая. Старшая — серьезна, умна, служитъ благосостоянію народа, не только интересуется земствомъ, но даже принимаетъ участіе въ борьбѣ его партій; младшая — дѣвушка, если можно такъ сказать, совершенно „женственная“, милый наивный ребенокъ, съ худенькими плечиками и пр. Между художникомъ, держащимся, повидимому, эстетическаго міровоззрѣнія и въ большей или меньшей степени равнодушнымъ къ вопросамъ общественности, особенно когда они принимаютъ узкую форму борьбы партій убаданаго земства, и старшей сестрою немедленно возникаетъ антагонизмъ, взаимное недовѣріе и даже раздражительность какая-то. Совсѣмъ иначе дѣло обстоитъ съ младшей дѣвушкой, которой художникъ и объясняется, наконецъ, въ любви въ одну лунную ночь. Но изъ этого ничего не выходитъ, потому что старшая, серьезная и непримиримая, сестра вмѣшивается въ неумудрое счастье полюбленной парочки и разлучаетъ „сердца“. Не правда-ли, вы чувствуете даже въ этой скорой передѣлѣ сюжета присутствіе чего-то серьезнаго. Фигура земской дѣвицы, интригующей на убаданныхъ выборахъ, убѣжденно смотря-

щей на мѣрѣ Божій съ самой узкой, практической точки зрѣнія — школъ, больницъ, хорошихъ дорогъ и огнестойкихъ глиняныхъ крышъ, — въ то же время (какъ, впрочемъ, и слѣдуетъ быть) властной и деспотичной, — насколько я знаю, не затронута нашей литературой. И за нее можно было бы истинное спасибо сказать г. Чехову, если бы онъ по серьезнѣе отнесся къ ней. Но — судите сами — весь рассказъ занимаетъ 20 страницъ разгонистаго шрифта, земская дѣвица фигурируетъ въ двухъ — трехъ сценахъ, внутренней жизни ея мы не видимъ совсѣмъ, а вмѣсто этого передъ нами тѣ же соловьиныя пѣсни, тѣ же объясненія влюбленныхъ, которыя, какъ выдвинутыя на первый планъ, и остаются сверху въ памяти читателя. Чтò бы показать новую фигуру земли русской поближе! Но г. Чеховъ даже не берется за эту задачу. Онъ просто описываетъ встрѣчу, даетъ талантливый контуръ, намѣчаетъ ичѣто зародившееся, но такое, что еще не скоро пуститъ въ землю жизни крѣпкіе корни.

И такъ вездѣ и повсюду. Дарованіе художника робѣетъ передъ несложившейся жизнью. Онъ настойчиво ищетъ характерной натуры и, не находя ея, ограничивается мазками.

Но эти мазки, штрихи и наброски — правда нашихъ дней. Почему же это такъ? Не разъ задавали себѣ этотъ вопросъ и все-же отвѣчали на него, по моему, не полно. Суть, мнѣ кажется, въ слѣдующемъ.

II.

Ни для кого, полагаю, не тайна и не новостъ, что наша литература (я продолжаю говорить объ изящной) переживаетъ въ настоящее время еще и свой специальный кризисъ. Формулировать его не трудно, такъ какъ симптомы его бросаются въ глаза даже поверхностному наблюдателю. Сущность кризиса въ томъ, что народъ, мужикъ все больше очищаетъ литературную сцену, оставляя мѣсто для новыхъ пришельцевъ. Мужикъ царилъ долго, начиная съ появленія знаменитой, хотя и далеко не талантливой повѣсти Д. Григоровича „Антонъ-Горемыка“ (1847 г.), за которой послѣдовали „Записки охотника“ Тургенева, пѣсни Некрасова, рассказы Марко-Вовка. Въ концѣ пятидесятихъ и въ шестидесятые годы мужикъ укрѣпился, а затѣмъ, когда начали свою дѣятельность гг. Златовратскій и Успенскій, создались цѣлая народническая литература, имѣющая свои развитія въ публицистикѣ и философій. Въ шестидесятые годы мужикъ несомнѣнно давалъ тонъ и направленіе художественному творчеству, безъ него не обходилась ни одна повѣсть, ни одинъ рассказъ, лучшія произведенія нашей литературы — такія, какъ „Записки охотника“, Тургенева, „Записки изъ мертвого дома“ Достоевскаго, и нѣкоторыя изъ лучшихъ страницъ „Войны и мира“ Толстого посвящены ему. Казалось — двадцать лѣтъ тому назадъ казалось это — что дѣйствию его не будетъ конца, а между тѣмъ кощунство пришло, если только это дѣйствительно конецъ, а не прѣостановка.

Здѣсь не мѣсто вдаваться въ психологію народнической литературы. тѣмъ менѣе ея исторію, и мнѣ хочется сдѣлать по ея поводу лишь одно маленькое замѣчаніе и даже не о ней, цѣликомъ, взятой, а лишь основной ея послыжкѣ. Посылка эта гласитъ: „мужикъ, его жизнь, его благосостояніе, его сознательная и безсознательная духовная дѣятельность *самые важные* факторы нашего существованія“! Несомнѣнно, что это такъ, и въ то же время одинаково несомнѣнно, что трудно сказать что-нибудь болѣе справедливое и неопредѣленное. Что въ сущности означаютъ эти два понятныя слова „самое важное“? И все, и ничего. Очевидно, что чѣмъ мужикъ богаче, развитѣе, предприимчивѣе тѣмъ сильнѣе наше государство; одинаково очевидно, что бѣдный, неразвитый, не предприимчивый, умственно неподвижный и весь съезжившійся въ своемъ стремленіи какъ-нибудь свести концы съ концами и „пробиться“ — очень плохой матеріалъ для художественнаго творчества. Онъ плохъ именно по своему однообразію, по отсутствію въ немъ рѣзкихъ индивидуальных чертъ, и совершенно естественно, что въ народнической литературѣ фигуры поэтического Хоря, обстоятельнаго Калиныча, Платона Каратаева повторяются десятки и сотни разъ подъ разными именами. Сынъ Калиныча очевидно долженъ быть „умственнымъ мужикомъ“ Златовратскаго, а Хоръ, безъ всякаго переодѣванія даже, превращается въ дядю Мина „поговорить съ которыми то же, что въ церковь сходить“. Мужикъ-поэтъ, мужикъ-хозяинъ и забытые Антоны и Каратаевы заимѣваны намъ старой барской эпохой исторіи. Лукавый, хитрый, недоувѣрчивый и жадный мужикъ созданъ новыми условіями жизни и нашелъ своего дѣтописца въ лицѣ Г. Успенскаго. Типъ же мужика индущаго и протестующаго въ литературѣ не привился. Естественно поэтому, что съ какой бы виртуозностью ни комбинировались эти разновидности — истощеніе должно было наступить рано или поздно.

Не говоря уже объ измѣнившихся обстоятельствахъ, есть между прочимъ и еще одна причина оскуднѣнія народническаго духа въ литературѣ. У меня достаетъ смѣлости утверждать, что, несмотря на гениальную наблюдательность Тургенева, Толстого, Достоевскаго, Успенскаго, нашъ мужикъ для насъ все еще таинственный незнакомецъ и, повидимому, долго еще останется такимъ. Мы его не знаемъ, не понимаемъ и говоримъ съ нимъ на разныхъ языкахъ. Сколько разъ путемъ личнаго опыта приходилось мнѣ убѣждаться, что литературный мужикъ имѣетъ очень мало общаго съ мужикомъ въ дѣйствительности; добродѣтели перваго именуются вторыми или „глупостью“ или прямо порокомъ. Что дѣлать! Къ народу мы относимся еще въ значительной степени по барски и очень склонны видѣть въ немъ то, чего въ немъ рѣшительно нѣтъ. Какъ-то, помнится мнѣ пришло въ крестьянской компаніи прочесть нѣкоторыя сцены изъ „Войны и мира“, въ которыхъ фигурируетъ Платонъ Каратаевъ, это лучшее воплощеніе народнаго духа — съ точки зрѣнія Толстого. Впечатлѣнія на мою аудиторію Каратаевъ не произвелъ ни жалѣйшаго, а его знаменитый разговоръ о невинно сосланныхъ на каторгу купцѣ, освободить ко-

торого запоздала бумага, вызвалъ лишь замѣчаніе: „Извѣстное дѣло.. Нешто правды нашъ братъ добьется?“ „Власти земли“ Успенскаго крестьяне совершенно не понимаютъ, парадоксы вроде того, что „мужикъ забилъ жену въ гробъ и правъ, потому что она была плохая работница“—не только не пользуются сочувствіемъ, а прямо наоборотъ. „Поучить можно“—это такъ, но забывать—грѣхъ, „особливо ежели есть малыя ребята—безъ матери хоша и ледящей ой-ой какъ плохо жить на свѣтѣ“.

Вообще когда мужику дѣйствительности приходится встрѣчаться съ литературнымъ мужикомъ, онъ не только не узнаетъ въ немъ самого себя, но даже мысль о сходствѣ не приходитъ ему въ голову. Для него литературный мужикъ—фикція, выдумка, житель другой планеты. Онъ будетъ слушать „книжку“, съ удовольствіемъ остановится на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ говорится о томъ, какъ трудно жить мужику, какъ много приходится ему работать, но дальше его интересъ не пойдетъ. Нисколько не задумываясь, онъ осудитъ Ивана Босаго, да еще приведетъ въ примѣръ какого-нибудь дядю Ивана, который тоже былъ подрабочникомъ на желѣзакѣ, да такъ поправился, что „теперь первый хозяинъ... а Иванъ отъ слабости своей пропасть!“ Ни малѣйшаго намека на власть земли, т. е. на сознание этой власти въ его словахъ вы не найдете; но крайней мѣрѣ я лично не слыхалъ ничего подобнаго.

Мужицкій міръ, міръ нравственныхъ понятій народа такъ далекъ отъ насъ, что мечтать теперь о какомъ-нибудь полномъ взаимномъ пониманіи—едва-ли даже возможно. Г-нъ Мельшицъ въ своей замѣчательной книгѣ („Изъ записокъ бывшаго каторжника“) рассказываетъ намъ, какъ своеобразно толкуютъ каторжники литературныя произведенія: „Братья Разбойники“ приводятъ имъ въ восторгъ, они чувствуютъ ненависть къ Достоевскому за то, что тотъ раскрылъ тюремныя тайны; по поводу убійства Дедекова вдаются въ техническія подробности и т. д. Заставить ихъ понять и принять нашу точку зрѣнія на преступленіе, неправду, на нихъ самихъ—нѣтъ никакой возможности. И мужикъ все-миѣнно смотритъ на себя совершенно иначе, чѣмъ мы на него. Онъ не станетъ восторгаться смиреніемъ, онъ любитъ и одобряетъ удачу, локкость, благосостояніе, онъ тяготится бѣдностью и въ душѣ склоненъ презирать нищету. Чувство собственного достоинства развито въ немъ, по моему мнѣнію, гораздо сильнѣе, чѣмъ о томъ говоритъ литература, но оно запугано, забито, оно таится въ душѣ глубоко-глубоко—а если проявляется когда, то преимущественно въ видѣ злобы и раздраженія.

Уже въ концѣ семидесятыхъ, а особенно въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, это взаимное непониманіе двухъ міровъ—интеллигентнаго и крестьянскаго стало ощущаться очень сильно. Успенскій создалъ фигуру своего Пигасова—этого восторженнаго и увлекающагося человѣка, на котораго однако нахлынула волна скептицизма. Онъ даже разбѣрился въ мужика, его солидную мудрость и съ раздраженіемъ, въ которомъ слышится значительная доза разочарованія, объясняетъ прекрасную организацію артели вѣтлѣвъскимъ, какъ „сигомъ“, его привычками, его обра-

зона жизни, вообще его „поведеніем“. Отсюда очень недалеко до полного обезличенія мужика.

Разумѣется, то, чего мы не понимаемъ, то, съ чѣмъ чувствуемъ великую историческую рознь, неестественно интересовать насъ. Прежде эта рознь была менѣе замѣтна; ее закрывали отъ глазъ народническіе и „покаянныя“ прираки, знаменитая формула, что мужикъ важнѣе всего. Отчасти личный опытъ крѣпостного права, дѣтскія воспоминанія о видѣнныхъ ужасахъ, рассказы и преданія о томъ же—создавали въ душѣ нѣкоторыхъ, разумѣется чуткихъ и вдумчивыхъ натуръ, особое настроеніе особую жалость къ мужику, страстное желаніе расплатиться за вынесенное и выстраданное имъ. Отсюда рукой подать до мысли о слияніи съ народомъ и что удивительнаго, если какой-нибудь баринъ видѣлъ прежде всего въ мужикѣ то, что ему хотѣлось видѣть, и, торопясь пойти къ нему на встрѣчу, награждалъ его „добродѣтелями съ своей точки зрѣнія“, приближалъ его къ своему понизанію, толкая его поступки и уклады его жизни по своему.

Горячій интерес исчезъ вмѣстѣ съ духомъ покаянія. Взаимное непониманіе выступило рѣзко и отчетливо. Литература даже разсердилась на мужика. Эртель заявилъ, что съ мужикомъ можно только спиться. Успенскій всѣ добродѣтели и пороки крестьянской жизни вывелъ изъ земли, ея власти и даже „власти сига“. Впрочемъ, дѣятельность Успенскаго такъ рѣзко оборвалась, что онъ не успѣлъ сказать своего послѣдняго слова, а въ этомъ словѣ, быть можетъ, было бы много горечи.

Наступилъ необходимый кризисъ. Народническій духъ ослабѣлъ въ литературѣ. Народническіе таланты или вымерли, или перестали работать. Непосредственные таланты, вроде Мамина-Сибиряка, не могутъ идти въ счетъ: это простое бытописаніе; народничество же было служеніемъ идеѣ, продуктомъ того, что въ 40-хъ годахъ называли „рефлексіей“...

III.

Если припомнить, что народничество—единственное оригинальное движеніе нашей литературы, собравшее подъ свое знамя крупныя силы, вдохновлявшее долгіе годы даже среднія и слабыя дарованія своимъ идеалистическимъ содержаніемъ, то ясно, какую брешь должно было оставить по себѣ оскудѣніе народническаго духа. Чѣмъ, кѣмъ замѣнить мужика? Чѣмъ, кѣмъ заполнить оставшееся послѣ него пустое мѣсто? Замѣьте къ тому же, что тутъ рѣчь шла не о новыхъ литературныхъ герояхъ, не о фигурахъ, а о другомъ—гораздо болѣе важномъ—о точкѣ зрѣнія на жизнь вообще, которая прежде опредѣлялась отношеніемъ къ мужику и сознаніемъ, что онъ самое важное.

Что теперь самое важное?

Я уже сказалъ, что опредѣленнаго, яснаго отвѣта на этотъ вопросъ нѣтъ. Подысканная матеріалъ для его разрѣшенія, мы вступаемъ въ область полутиповъ, быть можетъ, даже призраковъ

шого сословія... Одно спасеніе—учиться у купцовъ и съѣсть на ихъ мѣсто“.

Назгусовъ—баринъ, дѣлецъ разсчитливый и въ достаточной степени дилематическій. Кое-что жизненное въ немъ несомнѣнно есть—это уже доказывается тѣмъ, что онъ то и дѣло повторяется въ литературѣ, но степень его подлинной исторической характеристики я опредѣлить не берусь. Вообще, мнѣ кажется, что чиновничья карьера гораздо болѣе привлекательна для нашей „породы“, чѣмъ купеческая.

Во всякомъ случаѣ для меня очевидно, что дѣльцы и московское tiers état могутъ занять въ литературѣ пустое мѣсто, но замѣнить собою „мужика“—имъ не подъ силу. Ростомъ не вышли и фигуры у нихъ какія-то подозрительныя: не то abbés Sieyès'ы, не то гоголевскіе „аршинники и самоварники“. Все равно какъ, несмотря на морозовское „мы все можемъ“, купечество не даетъ ни тона, ни направленія жизни, такъ не даетъ оно ни тона, ни направленія литературѣ. ¹⁾

IV.

Народническое движеніе было движеніемъ идеалистическимъ. Въмѣстѣ съ его оскудѣніемъ необходимо должно было оскудѣть и нашъ идеализмъ ²⁾ вообще. Литературный матеріалъ на эту послѣднюю тему обширокъ и интересенъ. Я буду говорить лишь о той области, гдѣ это оскудѣніе выразилось особенно рельефно—именно объ интеллигентской мысли и жизни, буду,—въ чемъ одинаково считаю нужнымъ предупредить читателя—выбирать примѣры не лучшіе въ отношеніи художественности и выразительности, а наиболѣе характерные—

Прежде у литературной интеллигенціи были совершенно опредѣленные вѣрныя, которые заключались въ „поддержаніи и развитіи“, но мѣръ силъ и возможности, прогрессивныхъ началъ жизни, затѣмъ въ „служеніи общему благу“,—при чемъ общее благо охотно и естественно смѣшивалось съ благомъ „народа“. Нельзя сказать, чтобы эти мотивы были упразднены совершенно, но во всякомъ случаѣ въ ихъ носителяхъ нѣтъ уже прежней жизни, прежней увѣренности, прежнихъ упованій. И тутъ кризисъ, широко охватившій жизнь, со всевозможными развѣтвленіями и равноудаленостями, съ крайностями „нѣтовщины“ и чистого бюрократическаго благоразумія. Я начну съ нѣтовщины и напомню читателю образъ доктора Бугиева изъ повѣсти г-на Эртеля „Карьера Струкова“.

¹⁾ И ничего не говорю о тинахъ Островскаго. Слишкомъ очевидно, что купечество нашего знаменитаго драматурга выросло на почвѣ крѣпостнаго права и цѣлкомъ принадлежитъ дореформенной Руси.

²⁾ Это слово я употребляю въ самомъ широкомъ смыслѣ. Это большой недостатокъ языка, что и Гегель и, скажемъ, Вильямсъ оба у насъ идеалисты, хотя и въ идеализмъ, очевидно, не имѣютъ ничего общаго.

плачивается за чужие грѣхи! Иначе и быть не можетъ!.. И сколько онѣ денегъ переплатилъ, сколько удовольствій себя поэтому лишилъ! А познания одни чего стоятъ? Наконецъ, вся эта исторія просто на шантажъ похожа — соображаетъ Крыковъ, — а въ такихъ случаяхъ можно итти и къ полиціи обратиться!..

Портретъ не дуренъ — за нимъ чувствуется натура. И сколько такихъ портретовъ рисуетъ современная беллетристика, такъ что отъ души хотѣлось бы обвинить ее въ преувеличеніи. Оно, вѣроятно, и есть, но кто скажетъ, въ какой именно дозѣ?

Впрочемъ, по мѣрѣ силъ и возможности беллетристика старается разнообразить своихъ героевъ. Отмѣчая ихъ общую черту — житейское благоразуміе, она одного награждаетъ меланхолей при воспоминаніяхъ о золотыхъ, полныхъ вѣры дняхъ молодости, другому приписываетъ мысли о суетѣ суетъ, откуда по нѣсколько своеобразной логикѣ выводится, что можно быть негодяемъ (— ибо тѣмъ же негодяйство отличается отъ добродѣтели?) и т. д. Но сущность всадъ остается той же: страхъ передъ завтрашнимъ днемъ, желаніе обезпечить себѣ этотъ завтрашній день путемъ расчетливой предусмотрительности, а пожалуй даже и при содѣйствіи участковаго пристава, какъ въ исторіи Крыкова.

Быть можетъ даже — не берусь это утверждать положительно, — мы присутствуемъ при трогательномъ сближеніи интеллигенціи съ бюрократіей. Теперь формула: „чиновникъ долженъ быть образованъ“ такъ же распространена, какъ и другая: „образованный человѣкъ долженъ быть чиновникомъ“. И это мы видимъ въ жизни и то же мы видимъ въ литературѣ. Колоссальное, прямо невѣроятное развитіе государственнаго хозяйства, все расширяющаяся государственная монополія привлекаетъ на служеніе себѣ все больше интеллигентныхъ силъ. Кто же кого поглотитъ? Интеллигентный ли духъ — бюрократическій, или наоборотъ? Вопросъ огромный, такъ какъ совершенно вѣрно говоритъ г. Дѣдовъ, что 99% учащейся молодежи идетъ въ чиновники и, быть можетъ половина ся начинаетъ готовить себя къ этой карьерѣ уже съ студенческой скамьи: кто же, повторяю, побѣдитъ?

Не особенно энергично, но все же замѣтно беллетристика занимается и благоразумными похѣщиками изъ новыхъ людей. Многие склонны даже видѣть въ нихъ соль земли и залогъ будущаго развитія дорогого отечества. Это не народники, не экспансивные старые бары, а люди, стремящіеся къ улучшенію своего и даже крестьянскаго хозяйства путемъ „медленнаго, но вѣрнаго“ культуртрегерства. Тутъ на первомъ планѣ фосфориты, молотилки и опытные поля. Порывовъ нѣтъ, расчетъ на первый планъ.

Все дѣловито, умно и холодно и въ тоже время все какъ-то половинчато.

Чувствую, что не исчерпалъ и сотой доли матеріала, но если мнѣ удалось показать читателю, что за оскуднѣніемъ народничества послѣдовалъ у насъ литературный кризисъ — я доволенъ и этимъ. Я не хочу дѣлать пока никакихъ выводовъ: современная беллетристика даетъ на нихъ очень малое право. Ея полъ-и чет-

дверть-типы знаменуютъ лишь переходную эпоху, неустойчивое
ранцовіе, въ которомъ находятся всѣ классы общества. Тутъ
много любпытнаго, много характернаго, но ничего вполнѣ цѣль-
наго и опредѣленнаго. Упадокъ идеализма, торжество благора-
зумія, промышленные и бюрократическіе „идеалы“ — черта основ-
ная, но это не все. Но никто еще не сказалъ яснаго слова на
тему о томъ, что такое „все“ нашихъ дней.

Сириба.

(Э. А. Соловьев)